

## ПСИХОЗ И ДРУГОЙ\*

ЖАК ЛАКАН

Гомосексуальность и паранойя  
Слово и ритуальность  
Автоматизм и эндоскопия  
Паранойяльное знание  
Грамматика бессознательного

Жизнь психоаналитика – о чем напоминают мне мои пациенты не раз на дню – сладкой не назовешь.

Аналитика можно сравнить с помойной ямой – и вполне обоснованно. Ведь ему приходится целыми днями выслушивать вещи ценности весьма сомнительной, причем сомнительной не только для него самого, но еще более для субъекта, который эти вещи ему сообщает. Возникающее при этом у аналитика чувство, – если это настоящий психоаналитик, – он не только привыкает переносить в течение длительного времени, но и по мере практики, по правде говоря, начисто в себе искореняет.

Должен, однако, признаться, что когда приходится просматривать те работы, которые в совокупности составляют так называемую аналитическую литературу, это же чувство овладевает с прежней силой. Стоит лишь бегло ознакомиться с точками зрения различных авторов на одни и те же вопросы, и взгляду ученого предстанет картина поистине обескураживающая. Похоже, что никто и не замечает тех вопиющих противоречий, которые с упорной настойчивостью выходят на поверхность всякий раз, когда дело касается основополагающих понятий.

### 1.

Вам известно, что психоанализ объясняет случай судьи Шребера, как и паранойю вообще, по схеме, согласно которой субъектом обязательно движет не что иное, как гомосексуальное влечение (см. *Приложение* в конце статьи).

Обращение к совокупности фактов, вокруг этого представления выстраивающихся, было, безусловно, делом новым, в корне изменившим точку зрения на патогенез паранойи. Однако относительно того, что это за гомосексуальность, в какой момент субъективной экономики она дает о себе знать, как именно вызывает психоз, в существующих работах – я могу это засвидетельствовать – высказываются мнения самые неопределенные, и даже противоположные.

\* Перевод с франц. – А.К. Черноглазова. Научн. ред. – В.Н. Цапкина.

Можно услышать, например, о защите против предполагаемого прорыва гомосексуального влечения (а почему оно, собственно, в тот или иной момент возникает?). Но доказать это не так просто, особенно если придавать термину “защита” сколь-нибудь точный смысл – чего, как правило, тщательно избегают, предпочитая мыслить в потемках. Ясно ведь, что ситуация постоянно сохраняет двусмысленность и что связь этой защиты с провоцирующей ее причиной далеко не однозначна. Можно, например, считать, что она способствует сохранению определенного равновесия. А можно, наоборот, считать, что именно она-то болезнь и провоцирует.

Нас также уверяют, будто исходные определяющие факторы психоза Шребера следует искать в обстоятельствах, сопутствующих наступлению приступов очередной фазы его болезни. Вам известно, что в 1886 году у него был первый кризис, фактическую сторону которого с помощью его мемуаров пытаются восстановить. Сообщается, что именно в это время Шребер был выдвинут в качестве кандидата в депутаты Рейхстага. В течение приблизительно восьми лет между этим кризисом и последующим судья Шребер был вполне нормален – правда, не сбылись его надежды стать отцом. В конце этого периода он вступает – несколько преждевременно и в возрасте, не позволявшем предположить столь быструю карьеру, – в очень высокую должность, заняв место председателя апелляционного суда города Лейпцига. Эта весьма почетная должность дала ему, как уверяют, власть, связанную с ответственностью гораздо более полной и тяжелой, нежели любая, на какую он ранее мог рассчитывать, что дает повод усматривать между этим служебным продвижением и началом нового кризиса некоторую связь.

Другими словами, в первом случае указывают на тот факт, что Шребер не мог удовлетворить своего честолюбия, а во втором – на то, что оно было удовлетворено в силу внешних обстоятельств и могло расцениваться чуть ли не как незаслуженное. Оба факта с равным успехом рассматривают как толчок к кризису. Констатируя отсутствие у Шребера детей, приписывают первостепенную роль понятию отцовства. И в то же время утверждают, будто в результате того, что он, в конце концов, становится отцом, в нем оживает страх кастрации и сопутствующее этому страху гомосексуальное влечение. Они-то и рассматриваются как непосредственная причина возникновения кризиса, повлекшая за собой все те нарушения, патологические изменения и галлюцинации, которые постепенно развились в бред.

Разумеется, тот факт, что все лица мужского пола из медицинского персонала клиники фигурируют у Шребера в его мемуарах, а также поочередно упоминаются и занимают, один за другим, центральное место в паранойальном бреде преследования, от которого судья страдает, достаточно ясно указывает на то, что роль их в заболевании существенна. Перед нами, соб-

ственно говоря, явление переноса (не совсем в том, конечно, смысле, как мы его обычно понимаем, но нечто в этом роде) – и притом, весьма особым образом связанное именно с теми, кто принимал участие в лечении судьи. Выбор персонажей получает тем самым неплохое объяснение, но прежде чем удовлетвориться этой общей схемой, нелишне было бы заметить, что в определении мотивировки совершенно не используется доказательство от противного. Без внимания остается факт, что как страх перед борьбой, так и преждевременный успех в ней берутся в качестве положительного признака с одним и тем же значением. И случись Шреберу между двумя кризисами все-таки стать отцом, за это сразу ухватились бы и объяснили бы все тем, будто Шребер не смог вынести своей новой роли – роли отца.

Короче говоря, понятие конфликта всегда используется двусмысленно: то, что служит источником конфликта, ставится на одну доску с отсутствием конфликта – далеко не всегда таким уж очевидным. Отсутствие конфликта оставляет, если можно так выразиться, место свободным, и вот на этом-то свободном от конфликта месте и возникает реакция, появляется некая конструкция, заявляет о себе субъективность.

Это замечание я делаю исключительно для того, чтобы на деле продемонстрировать вам двусмысленность, о которой шла речь на нашем предыдущем занятии, – двусмысленность самого значения бреда, касающаяся в данном случае того, что обычно называют содержанием, и что я предпочел бы назвать психотическим высказыванием.

Вы разговариваете с человеком на одном языке и полагаете на этом основании, что он с вами общается. Но говорит он настолько поразительно ясно и четко, что вам, особенно если вы психоаналитик, неожиданно начинает казаться, будто перед вами существо, сумевшее проникнуть в самый механизм бессознательного гораздо глубже, чем это доступно простым смертным. Где-то во второй главе сам Шребер мимоходом упоминает об этом: “Мне было дано разумение, какое редко дается смертному”.

В моей сегодняшней лекции речь и пойдет как раз о той двусмысленности, благодаря которой сама бредовая система, выстроенная психотиком, дает нам определенную информацию об элементах ее понимания.

## 2.

Присутствовавшие на последнем занятии знают, что я продемонстрировал случай весьма явного психоза, и помнят, сколько пришлось мне потратить времени, чтобы добиться появления знака или стигмата, свидетельствующего, что мы действительно имеем дело не просто с женщиной, обладающей трудным характером и конфликтующей со своим окружением, а с самой настоящей бредовой пациенткой.

Лишь после необычно долгого опроса удалось выяснить, что на границе того языка, из которого не было способа ее вывести, существовал другой

язык. Это – язык, обладающий специфическим и зачастую необычным ароматом. Некоторые слова в этом другом языке приобретают особый смысловой акцент, некую плотность, которая, проявляясь порой в самой форме означающего, придает им характер откровенного *неологизма*, что столь характерно для развития паранойи. Так, в устах нашей пациентки прозвучало, наконец, слово *galopiner* (“галопинировать”), подобно подписи, удостоверившей все, что было сказано нами до сих пор.

Пациентка вовсе не была жертвой фрустрации, затрагивающей чувства ее собственного достоинства, ее независимости или вызванной неудачей в каких-то личных делах. Слово “фрустрация” с некоторого времени перестало быть чисто научным термином и прочно вошло в наш обиход – целыми днями люди только и делают, что говорят о том, как их фрустрирует что-то в настоящем или может фрустрировать в будущем или они сами фрустрируют кого-то. Наша же пациентка явно пребывала совершенно в другом мире – в мире, где главными ориентирами служили для нее слово *galopiner*, а также другие слова, которые она, безусловно, от нас утаила.

Я несколько задержусь на этом моменте, чтобы дать вам почувствовать, что здесь не обойтись без тех категорий лингвистической теории, на которых я пытался заострить ваше внимание в прошлом году. Вы помните, что в лингвистике различаются *означающее* и *означаемое*, и что означающее следует понимать как материал языка. Ловушка же, западня, в которую важно не угодить, состоит в ошибочном убеждении, будто означаемое – это объекты, вещи. На самом деле означаемое – нечто совсем другое: это значение. И, призвав на помощь блаженного Августина, который был лингвистом не хуже Бенвениста, я уже объяснял вам, что оно всегда отсылает только к другому значению. Система языка нигде, в каком бы пункте вы ее ни взяли, не становится перстом, указывающим на определенную точку реальности; сеть языка, взятого как целое, накрывает всю реальность в ее совокупности. Вы никогда не сможете сказать, что указано именно вот это, ибо даже если бы это вам удалось, вы ни за что не узнали бы, на что я указываю, скажем, в этом столе: на цвет, на плотность, на стол в качестве предмета, или на что-нибудь еще.

Остановимся на таком простом факте, как прозвучавшее в устах нашей пациентки слово *galopiner*. Сам Шребер постоянно подчеркивает необычность некоторых используемых им в речи терминов. Говоря, например, о *Nervenhang* (“соединение нервов”), он уточняет, что слово это было сообщено ему исследованными душами или божественными лучами. Перед нами слова-ключи. И Шребер замечает, что формулу их он никогда не мог бы найти сам: эти слова – оригинальные и полные, совершенно отличные от тех, которыми он обычно пользуется для описания своих переживаний.

Надо заметить, что Шребер не обманывается: здесь мы, действительно, имеем дело с совершенно различными измерениями.

На уровне означающего, носящего материальный характер, бред как раз и проявляется в той особой форме отклонения от обыденного языка, которая именуется неологизмом. На уровне же означаемого он проявляется в том, чего вы, не исходя из того, что значение всегда отсылает к другому значению, просто не заметите: отсылкой к другому значению значение этих слов не исчерпывается.

Сказанное явствует из текста Шребера столь ясно, словно мы говорим с живым пациентом. Специфика значения этих привлекающих ваше внимание слов заключается в том, что оно отсылает вас собственно к значению как таковому. Это значение, не отсылающее, по сути, ни к чему, кроме себя самого, остается ни к чему не сводимым. Больной и сам подчеркивает, что центр тяжести этого слова лежит в нем самом. Прежде чем допустить сведение к другому значению, оно означает нечто неизреченное в самом себе; это значение, которое отсылает в первую очередь к значению как таковому.

Мы наблюдаем это на обоих полюсах всех конкретных психопатологических проявлений бредовых пациентов. Как бы эндофазия больных, покрывающая всю совокупность проявлений болезни, которой они подвержены, ни развивалась, существуют два полюса, на которых упомянутая нами черта, как это и подчеркивается в тексте Шребера, наиболее заметна\*. Два типа явлений, где на первый план выступает неологизм: интуиция и формула.

Бредовая интуиция представляет собой цельный феномен, который заполняет субъекта, всецело захватывает его. Она открывает перед ним новые перспективы, и он подчеркивает их особый отпечаток и вкус – как делает, например, Шребер, рассказывая об открытом ему на опыте фундаментальном языке. Здесь именно слово – со всем пафосом, свойственным ему в роли “слова разгадки”, – находится в сердце ситуации.

На другом полюсе имеется форма, которую приобретает значение, когда оно само ни к чему уже более не отсылает. Она представляет собой настойчиво повторяющуюся и прокручивающуюся стереотипную формулу. Это то, что, в противоположность слову, можно назвать ритуелью\*\*

Обе эти формы, самая полная и самая пустая, фиксируют значение неподвижно: они подобны грузилу в сети дискурса субъекта. В клиническом исследовании эта структурная характеристика позволяет нам распознавать признаки бреда.

\* Эндофазия – характерное для паранойи нарушение внутренней речи, в особенности затрагивающее различение пациентом речи внутренней и внешней.

\*\* Ритуель (от итал. *ritornello* – возвращение) – вступительный и заключительный отыгрыш в танцевальной музыке. – Прим. ред.

Первоначально, даже при самых тяжелых формах бреда, язык больного способен ввести нас в заблуждение, и лишь указанная особенность заставляет нас выйти за пределы его понятийной системы и установить границы дискурса. Пациенты говорят, разумеется, на том же языке, что и мы. Если бы этот элемент в нем отсутствовал, мы бы пребывали в полном неведении. Следовательно, именно построение речи, отношение значения к значению, соотношение речи пациента с обычной организацией речи позволяют понять, что мы имеем дело с бредом.

Как-то в статье, опубликованной в Медико-психологических анналах еще в тридцатых годах, я попытался произвести анализ психотического дискурса. В ней разбирался случай шизофазии, в котором крайне наглядно на каждом уровне дискурса (как на уровне семантема, так и на уровне таксема)<sup>\*\*\*</sup> выявлялась структура того, что, возможно, не без основания, но зато явно без понимания всех далеко идущих импликаций этого термина, называют шизофренической дезинтеграцией.

Я говорил вам о языке. По ходу дела нужно отметить неадекватность и несерьезность излюбленной формулы иных аналитиков: “С пациентом следует говорить на его же языке”. Надо, конечно, простить тем, кто говорит подобные вещи, как прощаем мы любому, кто сам не ведает, что говорит. Уже само то, что вопрос этот формулируется в выражениях столь общих, является признаком скророспелости суждений и желания взять свои слова назад. Да, свой долг они выполняют; да, они делают все как положено, но снисходительность тона, подчеркивающего дистанцию, которая от пресловутого объекта, то есть пациента, их отделяет, скрыть при этом так и не удается. Мол, коли он здесь, так ладно уж, давайте будем говорить его языком, языком простаков и идиотов. Подчеркивать эту дистанцию, делать из языка всего лишь простой инструмент, способ заставить себя понять тех, кто не понимает ничего, – значит полностью упускать самую суть дела: реальность речи.

Но оставим на время аналитиков в покое. Кто находится в центре внимания психиатрических дискуссий по поводу бреда – будь то с точки зрения феноменологической, психогенетической или же органической? Каково, например, значение исключительно тонких исследований Клерамбо? Иные полагают, будто суть дела сводится к определению того, является ли бред органическим феноменом или нет. Это, как мне кажется, должно выявляться в самой феноменологии бреда. Прекрасно, но давайте все же разберемся в этом более тщательно.

Говорит ли пациент? Если не проводить различия между языком и речью, то ответ будет: да, он говорит, но ведь говорит, подобно доведенной до

---

<sup>\*\*\*</sup> “Семантема” – элемент плана содержания, его собственно лексический компонент; “таксема” – минимальная единица грамматического оформления (по Л.Блумфилду) – Прим. ред.

совершенства кукле, которая открывает и закрывает глаза, поглощает жидкость и т.д. Когда какой-нибудь Клерамбо анализирует элементарные феномены, он в первую очередь ищет свидетельств их подлинности в их собственной структуре – механической, змеевидной и, Бог знает, какой еще. Но даже при таком анализе личность, не получая никакого определения, обязательно подразумевается, ибо все зиждется на идеогеническом характере основы понимания – связи между аффектами и их выражением в языке. Это предполагается самоочевидным и служит отправной точкой доказательства. Нам говорят, что автоматический характер расстройства может быть установлен феноменологически, а это доказывает, что оно не является психогенным. Но ведь определение феномена как автоматического само устанавливается через его отношение к психогенной точке зрения. Предполагается, что существует субъект, наделенный способностью понимать и наблюдать себя. Иначе, каким образом другие феномены могли бы осознаваться им как чуждые?

Обратите внимание, что речь вовсе не идет о классической проблеме, которая завела в тупик всю философию, начиная с Лейбница, или, по крайней мере, начиная с того момента, когда в центре внимания оказалось сознание как основа достоверности: должна ли мысль, чтобы быть мыслью, непременно мыслить себя мыслящей? Должна ли всякая мысль непременно отдавать себе отчет в том, что она мыслит о том, о чем она мыслит? Вопрос непростой, ибо немедленно вводит нас в бесконечную игру отражений: если природа мысли такова, что она мыслит себя мыслящей, то будет и третья мысль, которая станет мыслить себя мыслью мыслящей и т.д. Уже один этот вопрос, до сих пор так и не разрешенный, вполне убедительно доказывает, что неправомерно видеть основание субъекта в феномене мысли как среды, прозрачной для себя самой. Но здесь речь пойдет совсем о другом.

Стоит нам допустить, что субъект обладает знанием о паразитарном феномене как таковом, т.е. как о субъективно немотивированном, как вписанном в структуру механизма – предполагаемых нарушений прохождения нервных импульсов, – как нам не удастся отделаться от впечатления, будто субъект обладает эндоскопическими данными обо всем, что реально в его собственном механизме происходит. Без этого представления не способна обойтись любая теория, ставящая интраорганические феномены в центр происходящих в субъекте процессов. Фрейд подходит к этому вопросу более осторожно, нежели другие авторы, но и он вынужден признать, что субъект находится в какой-то привилегированной точке, откуда он может провести эндоскопию всего, что внутри него самого происходит.

Это представление никого не удивит, если речь идет о более или менее бредовом эндоскопическом исследовании своего желудка или легких, но оно приобретает гораздо более сомнительный характер, как только дело касается интрацеребральных феноменов. В этих случаях авторы, зачастую

сами того не замечая, бывают вынуждены допустить, что субъект имеет некоторые эндоскопические данные о том, что происходит внутри его нервных волокон.

Допустим, что перед нами субъект, страдающий от “эха мыслей”. Допустим вместе с Клерамбо, что это результат некоего запоздания, вызванного хроническим повреждением: одно из двух внутримозговых сообщений – так сказать, телеграмм – задерживается и прибывает по отношению к другому с опозданием, откуда и эффект эха. Чтобы зарегистрировать это опоздание, необходимо, чтобы существовал привилегированный пункт, с которого субъект мог бы оба сообщения запеленговать и засечь, таким образом, возможное несовпадение между двумя системами. Любая органическая теория или теория автоматизма, как бы она ни была построена, имеет неизбежным выводом существование такого привилегированного пункта. Короче говоря, тут все так и зиждется на почве психогенеза. Но что же это за привилегированный пункт, если не душа? И вот наши теоретики впадают в идолопоклонство еще худшее, нежели у тех, кто приписывает душе самую грубую реальность и локализует ее в некоем волокне или системе, – судья Шребер называл это особой, прикрепленной к личности, нитью. В роли этого привилегированного пункта выступает у них то, что обычно именуют функцией синтеза, – ведь всякому синтезу свойственно иметь некое средоточие и, пусть идеально, но это средоточие всегда существует.

Итак, встанем ли мы на психогенетическую или органическую точку зрения, нам не обойтись без представления о существовании некоей объединяющей сущности. Достаточно ли его для объяснения феноменов психотического уровня? Бесплодность гипотез такого рода просто поражает. Если психоанализу удалось открыть нечто значительное, обнаружить новое знание и понимание, создать нечто плодотворное, богатое и динамичное, то благодаря низвержению устаревших психиатрических построений, державшихся целые десятилетия с помощью чисто функциональных понятий, сгруппированных вокруг понятия “я”, служившего для них камуфляжем.

Но как приблизиться к тому новому, что принес психоанализ, не свернув на другой проторенный путь, заключающийся в умножении этих “я”, в свою очередь, различным образом закамуфлированных? Единственным способом, сообразующимся с открытием Фрейда, будет постановка вопроса в том самом регистре, в котором является нам исследуемый феномен – в регистре речи. Именно регистр речи создает все богатство феноменологии психоза, именно здесь наблюдаем мы все его многочисленные аспекты, все привносимые им преломления и искажения. Вербальная галлюцинация – явление, для психоза фундаментальное, – как раз один из наиболее загадочных феноменов речи.



Нельзя ли остановиться на феномене речи как таковом? Разве даже при первом его рассмотрении не выступает в нем первичная, существенная и очевидная структура, которая позволяет нам провести различия, не грешащие мифологизмом, т.е. не предполагающие, будто субъект “где-то” располагается?

### 3.

Что такое речь? Говорит субъект или же нет? Речь – задержимся немного на этом явлении.

Что отличает речь от зарегистрированного языкового звучания? Говорить, значит, прежде всего, говорить с другими. Я уже неоднократно ставил в центр внимания на своих лекциях именно эту, кажущуюся на первый взгляд простой, характеристику – говорить с другими.

В последнее время понятие сообщения вышло на передний план науки. Для нас структура речи – я напоминаю об этом всякий раз, когда нам приходится использовать этот термин в его собственном смысле, – состоит в том, что субъект получает свое сообщение от другого в инвертированной, перевернутой, форме. В основе полной, сокровенной, заинтересованной речи лежит именно эта структура. Мы знаем две ее типовые формы.

Первая – это *fides*; слово, которое дается: “ты моя жена” или “ты мой господин”, что означает “ты являешься тем, что находится пока в моей речи, и того, что я говорю, я не могу утверждать, не взяв слово вместо тебя. Это слово исходит от тебя, чтобы у тебя получить уверенность в том, что я на себя беру. Это речь, которая требует твоего участия”. Единство речи как основания, определяющего позиции обоих субъектов, проявляется здесь в неприкрытой форме.

Это, может быть, не кажется вам очевидным, но зато оборотная сторона этой мысли будет, как водится, гораздо яснее.

Знак, по которому можно узнать субъект-субъектное отношение и который отличает его от субъект-объектного отношения, – это притворство, оборотная сторона *fides*. В присутствии субъекта вы находитесь в той мере, в какой обо всем том, что он говорит и делает, – а это одно и то же, – можно предположить, что это говорится и делается с целью вас обмануть, включая все диалектические последствия этого предположения, вплоть до и в том числе до того, что он говорит правду специально, чтобы заставить вас думать обратное. Помните приведенную Фрейдом историю о человеке, который говорит: “Я еду в Краков”, а другой ему отвечает: “Я знаю, почему ты мне говоришь, что едешь в Краков. Ты мне это говоришь, чтобы я подумал, будто ты едешь в другое место”<sup>\*</sup>. То, что говорит мне субъект, всегда за-

<sup>\*</sup> З.Фрейд. “Остроумие и его отношение к бессознательному”.

ключает, по сути дела, возможность, что он отсылает меня ко лжи, и что я получу сообщение в перевернутой форме.

Вот структура, лежащая в основе обеих сторон речи: речи-провоз-гласительницы, с одной стороны, и лживой речи, речи-обманщицы, с другой.

Мы слишком расширили понятие коммуникации. В настоящее время мы находимся на волосок от того, чтобы вся теория процессов, происходящих в живых существах, была переформулирована как функция коммуникации. Почитайте хоть немного Норберта Винера, и вы увидите, как далеко можно на этом пути зайти. Среди его многочисленных парадоксов есть любопытный миф о пересылке человека по телеграфу из Парижа в Нью-Йорк путем передачи исчерпывающей информации обо всем, из чего складывается его индивидуальность. Поскольку информацию можно передавать неограниченно, то постепенный синтез, автоматическое воспроизведение подлинной личности на большом расстоянии вполне мыслимо. Рассуждения такого рода рассчитаны лишь на то, чтобы пустить изумленной публике пыль в глаза; это субъективный мираж, рассеивающийся, как только мы обратим внимание, что чудо останется точно таким же, если мы телеграфируем человека на расстояние в два сантиметра. Что, собственно, мы и делаем каждый раз, когда на это расстояние перемещаемся. Эта удивительная путаница достаточно убедительно показывает, что понятием коммуникации нужно пользоваться с осторожностью.

С моей стороны, в расширенном понятии коммуникации я выделяю речь как разговор с другим. Что значит – говорить с другим? Это значит – дать слово другому как таковому.

Этого другого мы, если не возражаете, будем писать с большой буквы и обозначим большой буквой *A*\*.

Почему большой буквой *A*? По причине бредовой, как и всякий раз, когда к знакам языка приходится добавлять дополнительные. Эта бредовая причина заключается здесь в следующем. “Ты моя жена”, – в конце концов, что вы об этом знаете? “Ты мой господин”, – полно, так ли уж вы в этом уверены? Провозгласительная сила этих слов основана на том, что подразумеваемое в этом сообщении, равно как и то, что проявляется в обмане, сводится к одному: другой здесь налицо как абсолютный Другой (*A*). Абсолютный – значит признанный, но не познанный. Равно и притворство состоит в том, что вы не знаете, притворство это или нет. Это неизвестное в инаковости Другого и характеризует отношение речи к уровню, на котором она обращена к другому.

---

\* От начальной буквы французского слова *Autre* – Другой. Смысл сохранения французского “*A*” состоит в том, что в текстах Лакана, в особенности в его схемах, сокращения используются в качестве неких алгебраических символов.  
– Прим. ред.

Я еще немного вас задержу на уровне этого структурного описания, ибо проблемы можно ставить, только исходя из него. Единственное ли это отличительное свойство речи? Возможно, но она, конечно, имеет и другие особенности – она не только обращена к другому, она и говорит о другом как об объекте. Именно это и происходит, когда субъект говорит вам о себе.

Вспомним нашу пациентку с паранойей – ту, которая употребляла термин *галопинировать*. Когда она говорит с вами, вы узнаете в ней субъекта именно потому, что она пытается вас одурачить. Это то же самое, что вы имеете в виду, когда клинически квалифицируете, что имеете дело с частичным бредом. Именно постольку, поскольку эта женщина заставила меня потратить полтора часа, чтоб вытащить из нее это слово “галопинировать”, именно постольку, поскольку все это время она водила меня за нос и притворялась здоровой, она еще не перешагнула границы того, что клинически определяется как бред. То, что называется на психиатрическом жаргоне здоровой частью личности, состоит в ее способности говорить о другом, способности подшучивать над ним. В этом смысле она и существует как субъект.

Перейдем теперь на другой уровень. Она говорит о себе, и, оказывается, что говорит она несколько больше, чем хотела бы. Вот тут-то мы и замечаем ее бред. Она говорит здесь о том, что является нашим общим объектом – о другом, с маленькой буквы. Конечно, говорит по-прежнему она сама, но у речи ее уже иная структура, к тому же до конца себя не выдающая. Она говорит мне не о чем попало, напротив, она говорит о предмете, к которому проявляет жгучий интерес, к которому она по-прежнему хранит привязанность, короче говоря, она свидетельствует.

Попробуем вникнуть немного в понятие свидетельства. Является ли свидетельство в чистом виде коммуникацией? Конечно же, нет. Ясно, однако, что все, чему мы придаем значение в качестве коммуникации, относится к порядку свидетельства.

Незаинтересованная коммуникация есть, в конечном итоге, не что иное, как неудачное свидетельство – нечто, скажем, с чем согласны все. Общеизвестно, что это и есть идеал передачи знания. Вся система мышления научного сообщества основывается на предпосылке возможности коммуникации, увенчивающейся проведением эксперимента, относительно результатов которого достигается всеобщее согласие. Сам институт эксперимента есть функция свидетельства.

Здесь мы имеем дело с другим видом инаковости. Я не могу повторять все, что я говорил раньше о так называемом паранойяльном знании, поскольку к этой теме я буду не раз возвращаться в течение этого года, но в двух словах я на нем все же остановлюсь.

Итак, то, что я назвал паранойяльным знанием при своей первой встрече с весьма оригинальной по тем временам группой “Психиатрической эволю-

ции”, относится к паранойяльному сходству между всяким знанием объекта как такового. Источник всякого человеческого знания лежит в диалектике ревности, являющейся изначальным проявлением коммуникации. Речь идет о родовом свойстве, вполне доступном бихевиоральному наблюдению. Отношения между маленькими детьми отмечены фундаментальным транзитивизмом, проявляющимся, скажем, в том факте, что ребенок, побивший другого, вполне может сказать, что его побил другой. Он при этом не обманывает – он и *есть* этот другой в буквальном смысле слова.

Вот где основание, на котором зиждется отличие человеческого мира от мира животного. Человеческий объект отличается своей нейтральностью и способностью к неограниченному распространению. Он не требует условий сочетаемости с инстинктами субъекта наподобие валентности химических элементов. То, что человеческий мир есть мир, покрытый объектами, объясняется тем, что объект человеческого интереса – это объект желания другого.

Как это возможно? Дело в том, что “собственное я человека” (*moi*) – это другой, и что первоначально субъект тяготеет, скорее, к форме другого, нежели к обнаружению своей собственной склонности. Первоначально он представляет собой хаотический набор желаний (в этом и заключен подлинный смысл выражения “расчлененное тело”), и первый синтез *ego* – это обязательно *alter ego*, *ego* отчужденное. Желаящий человеческий субъект строится вокруг центра, которым является другой, поскольку тот придает ему единство; и первое, что субъект встречает в объекте, это объект в качестве объекта желания другого.

Сказанное позволяет выявить внутри отношения речи нечто, проистекающее из другого источника, – это как раз и есть различие между Воображаемым и Реальным. Инаковость изначальна включена в объект, поскольку он изначальна представляет собой объект соперничества и конкуренции. Он интересен лишь как объект желания другого.

Так называемое паранойяльное знание – это знание, основанное на порождаемом ревностью соперничестве и возникшее в процессе той первичной идентификации, которую я попытался выявить на стадии зеркала. Эти лежащие в основе объекта соперничество и конкуренция как раз и преодолеваются в речи, если речь эта вовлекает третье лицо. Речь всегда представляет собой договор, соглашение. Люди договариваются о чем-то, соглашаются друг с другом: это – тебе, это – мне, это – одно, а это – другое. Но агрессивный характер изначального соперничества накладывает свой отпечаток на все разновидности дискурса о другом с маленькой буквы, о Другом как третьем лице, об объекте. Не случайно свидетельство называется по латыни *testis* (недаром люди клянутся именно ими). Во всем, что относится к порядку свидетельства, сказывается ангажированность субъек-

екта и виртуальная борьба, в которой организм всегда остается как бы в стороне.

Эта диалектика всегда содержит допущение, что от меня потребуется уничтожить другого. И вот по какой причине. Поскольку отправной точкой этой диалектики является мое отчуждение в другом, наступает момент, когда из-за несогласия другого я могу оказаться под угрозой уничтожения сам. Диалектика бессознательного всегда предполагает, как одну из перспектив, борьбу, невозможность сосуществования с другим.

Здесь вновь обнаруживается диалектика господина и раба. “Феноменология духа”<sup>\*</sup> не исчерпывает, вероятно, всего, о чем тут идет речь, но нельзя не отдать должного ее психологической и психогенетической ценности. Именно в изначальном соперничестве, в первичной и принципиальной смертельной борьбе происходит образование человеческого мира как такового. С той разницей, что, в конце концов, как мы видим, все возвращается на круги своя.

Господин лишил раба его наслаждения, он завладел объектом желания как объектом желания раба, но тем самым он лишился своей человечности. Дело ведь было вовсе не в объекте наслаждения, а в соперничестве как таковом. Кому он обязан своей человечностью? Исключительно признанию со стороны раба. Но поскольку сам он раба не признает, признание это не имеет буквально никакой ценности. И совершенно в порядке вещей, что восторжествовавший и завоевавший наслаждение становится полным идиотом, ни к чему, кроме наслаждения, не способным, в то время как лишенный наслаждения сохраняет всю свою человечность. Раб признает господина, а значит, имеет возможность получить признание и с его стороны. Вот он веками и ведет борьбу за достойное признание.

Различие между Другим с большой буквы (*A*), то есть Другим, поскольку он не познан, и другим с маленькой буквы, то есть другим, который совпадает с моим “собственным я” (*moi*), источником всякого знания, является фундаментальным. Именно в промежутке между ними, в секторе, образованном векторами этих двух отношений, и должна располагаться диалектика бреда. Возникают следующие вопросы: во-первых – говорит ли субъект с вами?; и, во-вторых, – о чем он говорит?

#### 4.

Я не стану отвечать на первый вопрос. Подлинна ли эта речь? – поначалу мы этого узнать не можем. Но о чем он говорит? Конечно же, о себе, но в первую очередь об объекте, который не похож на другие, об объекте, в котором продолжают исследуемые нами диалектические отношения, – он говорит вам о чем-то, что говорило с ним.

<sup>\*</sup> Речь идет о “Феноменологии духа” Гегеля.

Сама основа паранойяльной структуры зиждется на том, что субъект понимает и формулирует тот факт, что нечто приняло форму речи – речи, которая обращена к нему. Никто, конечно, не сомневается, что это существо фантазматическое; не сомневается в этом даже он сам, ибо он всегда готов признать абсолютно двусмысленный характер обращенных к нему слов. Именно к структуре этого говорящего с субъектом существа и относится свидетельство параноика. Теперь вы, без сомнения, уже видите разницу уровня, существующего между отчуждением как общей формой Воображаемого, и отчуждением в психозе. В психозе дело не сводится к идентификации по внешним признакам – тем, что склоняет чашу весов в сторону другого с маленькой буквы. Как только субъект начинает говорить, перед нами уже Другой (*A*). Иначе не было бы и проблем психоза. Психотики были бы просто говорящими машинами.

Свидетельство субъекта вы берете в расчет именно постольку, поскольку он говорит с вами. Проблема в том, чтобы узнать, какова структура этого существа, говорящего с ним, в фантазматическом характере которого ни у кого нет сомнения. Это именно *S* в том самом смысле, в котором его трактует анализ, но *S* плюс вопросительный знак. Какая именно часть субъекта говорит? Анализ отвечает, что это бессознательное. Разумеется, чтобы вопрос этот имел смысл, нужно признать, что это бессознательное представляет собой нечто такое, что говорит в самом субъекте, по ту сторону субъекта, говорит, даже когда субъект этого не знает, и больше, чем он полагает. Анализ утверждает, что в психозах говорит именно *это*. Но достаточно ли данного утверждения? Ни в коем случае, ибо весь вопрос в том, как *это* (“*это*” – французское [*ça*] ) говорит[ся], и какова структура паранойяльного дискурса. Фрейд предлагает ответ, диалектика которого головокругительна.

За основу он берет высказывание, выражающее фундаментальное стремление, которое может проявиться в неврозе, а именно: “я люблю его” и “ты любишь меня”. Фрейд говорит нам, что есть три способа это отрицать\*. Он не ходит вокруг да около, он не объясняет, почему бессознательное больных психозом оказывается таким хорошим грамматистом и таким плохим филологом – ведь, с точки зрения филологии, все это на самом деле крайне подозрительно. Не думайте, будто здесь все соответствует учебнику французской грамматики для шестого класса, – способов сказать “я его люблю” существует множество. Фрейд не останавливается на этом, он утверждает, что существуют три способа отрицания и три типа бреда. И это утверждение работает.

---

\* В действительности, Фрейд называет и четвертый способ отрицания: “Я не люблю его – я никого не люблю”. См.: Freud S. *Psychoanalytic Notes Upon an Autobiographical account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides)* // Freud S. *Three Case Histories*. New York: Collier Books, 1968, p.168. – Прим. ред.

Первый способ отрицания звучит так: “это не я люблю его, это она”, т.е. моя напарница, мой двойник. Второй способ такой: “я люблю вовсе не его, а ее”. На этом уровне паранойяльный субъект недостаточно защищен, недостаточно замаскирован, еще находится в пределах досягаемости, и в ход должна быть пущена проекция. Третья возможность: “я не люблю его, я ненавижу его”. Здесь инверсии тоже недостаточно – по крайней мере, так говорит нам Фрейд, – и тоже должен вмешаться механизм проекции, то есть: “он ненавидит меня”. И перед нами оказывается уже бред преследования.

Широкий синтез, лежащий в основе этой конструкции, способен объяснить многое, но вы сами видите, что ряд вопросов остается открытым. Всякий раз, когда речь не идет об отстранении “я”, нужно вмешательство дополнительного механизма проекции. Не то чтобы это было полностью неприемлемо, но мы предпочли бы иметь дополнительную информацию. Ясно, с другой стороны, что “не”, т.е. отрицание в его наиболее формальной форме, имеет в применении к этим различным терминам совершенно разный смысл. Но в целом эта конструкция действительно чему-то соответствует, она работает, и она действительно ставит вещи на свои места, рассматривая их в аспекте, я бы сказал, принципиального словопрения.

Не исключено, что сказанное сегодня наведет вас на мысль, что мы можем поставить вопрос иначе. “Я люблю его” – что это: сообщение, обещание, свидетельство или простое признание факта в его нейтрализованной форме.

Рассмотрим ситуацию в терминах сообщения. В первом случае, “это она любит его”, субъект возлагает передачу сообщения на другого. Это отчуждение переводит нас, безусловно, в план другого с маленькой буквы – *ego* говорит, пользуясь посредничеством *alter ego*, которое по ходу дела успело сменить пол. Мы ограничимся рассмотрением инвертированного отчуждения. При бреде ревности на первый план и выходит эта идентификация с другим с одновременной сменой признака пола.

С другой стороны, анализируя структуру таким образом, вы понимаете, что речь вовсе не идет о проекции в том смысле, в каком она может быть интегрирована в механизм невроза. Проекция, допускающая такую интеграцию, заключается в том, что свои собственные изменения вменяются другому – кто ревнует свою жену, тому и самому есть, в чем себя упрекнуть. Аналогичный механизм не годится для объяснения бреда ревности, носящего, по-видимому, психотический характер. Непригоден он ни для случая, приводимого Фрейдом, ни для регистра, в который я сам только что пытался его ввести, где для передачи ваших чувств в адрес – нет, даже не другого мужчины, а, как показывает клинический опыт, – неопределенного числа других мужчин вы используете лицо, с которым идентифицируете себя путем инвертированного отчуждения, то есть собственную жену. Истинный

паранойяльный бред ревности может повторяться до бесконечности, он дает о себе знать при любой перемене обстоятельств и повод к нему может подать любой субъект, появившийся на горизонте, – как, впрочем, и не появившийся.

Перейдем ко второй возможности: “я люблю не его, а ее”. Перед нами отчуждение другого типа – не инвертированное, а переориентированное (*diverti*). Тот другой, к которому обращается эротоман, носит совершенно особый характер: субъект не находится с ним в отношениях сколь-нибудь конкретных, что и дало повод говорить в этом случае о мистической связи и платонической любви. Очень часто это объект весьма отдаленный, с которым субъект общается по переписке, порой даже не зная, доходят ли его послания до адресата. Самое краткое, что можно сказать по данному поводу, это то, что здесь мы имеем дело с переориентированным отчуждением сообщения. Сопровождающая это деперсонализация другого явно проявляется в том, что сами эротоманы называют “героическим перенесением всех испытаний”. Эротоманический бред обращен к другому, до такой степени нейтрализованному, что вырастает он до размеров целого мира, поскольку всеобщее внимание, которое привлекает эта, как называл ее Клерамбо, авантюра, является ее существенной составляющей.

В третьем случае мы имеем дело с чем-то гораздо более близким к отрицанию. Это отчуждение конвертированное, превращенное, в том смысле, что любовь превратилась в ненависть. Глубокая деградация и девальвация всей системы другого, экстенсивный характер интерпретации мироздания демонстрируют вам здесь характерное расстройство в регистре Воображаемого в его максимальном масштабе.

Теперь нам предстоит исследовать характерное для бреда отношение к Другому. Наилучшим образом нам поможет это сделать сама терминология, позволяющая различать субъекта – того, кто говорит, и другого, с кем он сцеплен в воображаемых отношениях – центром тяжести его индивидуального “собственного я” (*moi*) и в ком нет речи.

Данные термины позволят нам переосмыслить понятия психоза и невроза.

30 ноября 1955 г.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

Осенью 1884 года председатель Дрезденского суда, кандидат в депутаты Рейсхатга, один из отцов города, Даниель Шребер, психически заболел. У него обнаружился бред преследования. В качестве преследователя высту-



пал его лечащий врач доктор Флешиг. Через девять лет, в 1893 году, приступ психоза повторился, и теперь бред Шребера приобрел чрезвычайно, с одной стороны, систематизированную, а, с другой, причудливую форму. Теперь Шребер выяснял свои взаимоотношения с самим Богом, который, по его мнению, уничтожил все человечество, и, для того чтобы спасти его, Шреберу предстояло превратиться в женщину и заключить с Богом брак. К началу нового века Шребер оправляется от острого состояния и начинает писать свои знаменитые «Мемуары нервнобольного», которые были опубликованы в 1903 году. А в 1910 году уже известный всему миру основатель психоанализа пишет по мемуарам Шребера большую работу «Психоаналитические заметки об автобиографическом изложении случая паранойи (*dementia paranoides*)» (1911г.). Эта работа, занимающая по объему, как часто бывает у Фрейда, нечто среднее между большой статьей и маленькой книгой (5 печатных листов) и известная более как *Случай Шребера*, нарушает традицию Фрейда, который в других больших четырех разборах клинических случаев (*Дора, Маленький Ганс, Человек-крыса и Человек-волк*) имеет дело с собственным клиническим материалом.

Почему Фрейд взялся анализировать мемуары Шребера? Потому что они представляют собой поистине клад для исследователя психопатологических механизмов личности. Во многом это вообще уникальный случай в истории европейской культуры, когда человек, полностью сохраняя критику, подробнейшим образом описывает свою чрезвычайно запутанную и увлекательную бредовую систему (в отличие, скажем, от Даниила Андреева, чья «Роза мира», с клинической точки зрения, также является бредовым построением, но автор не относился к своему писанию критически). В *Случае Шребера* Фрейд делает два больших теоретических открытия. Во-первых, он связывает паранойю с гомосексуализмом, и, во-вторых, дает знаменитую формулу паранойяльной проекции (*Я люблю тебя. Ты не любишь меня. Я ненавижу тебя.*).

Чем случай Шребера привлек Лакана? По-видимому, тем же, что и Фрейда. А именно, тем, что здесь имеет место развернутая речь самого больного («Чего бы ни добивался психоанализ – среда у него одна: речь пациента», – один из главных методологических принципов Лакана, изложенный им в «Римском докладе»). Вся речь Шребера, в которой *означающее* полностью подминает под себя *означаемое*, – что обычно и бывает, по Лакану, при психозах, – построена как непрерывный диалог с доктором Флешигом, с Богом и, в первую очередь, с божественными лучами. В работе «О вопросе, предваряющем любой возможный подход к лечению психоза» Лакан отчетливо фундирует эту «лингвистическую» (можно даже сказать «структуралистскую») установку Шребера, который пишет: «Не забудьте, что природа лучей такова, что они должны говорить». Заостряя мысль Фрейда о потере реальности при психозе, Лакан пишет далее, что «про-

блема, как указывал и сам Фрейд, состоит не в самой потере реальности, а в силе, вызывающей к жизни то, что заступает на ее место», то есть о силе психотической (символической, по мнению Лакана) картины реальности – бредово-галлюцинаторного комплекса. Следует, по-видимому, добавить, что фрейдовский диагноз, данный им Шреберу – «паранойяльная деменция», не является общепринятым, с современной точки зрения. По-видимому, здесь речь идет о систематизированном (причем, очень может быть, что систематизированном самим Шребером уже задним числом, – *nachträglich*, – как любил говорить Фрейд) параноидно-шизофреническом бреде\*.

*В.Руднев*

---

\* О разграничении паранойяльного и параноидного бреда на структурно-семиотической основе см. в книге автора данного примечания: В.П.Руднев. *Характеры и расстройства личности: патография и метапсихология*. М., 2002.